

Вадим Перельмутер

Фрагменты о Липкине

...Мы были знакомы лет тридцать, но общались *фрагментарно*. Подчас с перерывами в полгода, а то и больше, иногда весьма регулярно, особенно во второй половине семидесятых, когда Липкин и Лиснянская зачастили в гости к Штейнбергу, у которого я тогда бывал чуть ли не еженедельно.

Несколькими годами ранее Штейнберг нас и познакомил – еще на Шаболовке, в утесненной книгами и картинами и без того не просторной двухкомнатной «хрущобе» окнами на трамвайные скрежеты и звоны.

А первое упоминание Штейнберга о Липкине запало намертво – к слову пришедшийся фрагмент. Разговор шел о переводах стихов по издательскому заказу – и по собственному *выбору* поэта.

Пришлось однажды, рассказывал Штейнберг, помучиться над «заказным» стихом, изошренно сочиненным, технические всякие штучки никак не давались. И вдруг – получилось, да так удачно, что сам удивился. И похвастаться кому-нибудь из понимающих охота. И тут как раз заглянул к нему Липкин. Едва открыв дверь, Штейнберг гостеприимно предлагает угощение: «Сёма! Дай-ка я тебе почитаю один перевод!» – «Стоп, Аркадий! Сначала ответь мне: если бы тебе за работу ни копейки не платили, ты стал бы это переводить?» – «Ты с ума сошел!» – «Тогда не читай»... И как отрезало: с тех пор, кроме как на «заказных» же вечерах, Штейнберг читал только *своих* поэтов. А что издавали их и деньги платили, так тому обстоятельства иногда благоприятствовали.

Если память не изменяет, на переводческих средах в ЦДЛ видел я Липкина единственный раз – на одном из чтений Штейнбергом очередных книг «Потерянного рая».

В семьдесят первом на вечере по случаю своего шестидесятилетия Липкин переводов не читал вовсе, только стихи.

Вечер тот происходил почему-то в... ресторане ЦДЛ, откуда на несколько часов вытащили все, кроме одного – для юбилея, столы, стульев добавили разнокалиберных – из буфета, из других комнат, расставили плотно, не протолкнуться, все желающие послушать стихи едва уместились. После первого стихотворения грохнули аплодисменты. Липкин дождался тишины и попросил больше этого не делать, потому что не концерт – стихи. Так и читал – среди напряженного молчания по машинописям, изредка поднимая глаза от очередного листка...

Насколько удалось узнать, ни до, ни после подобных ресторанных вечеров в ЦДЛ не бывало. И необычайность эта странным образом срослась с услышанным.

При первой встрече с Лиснянской и Липкиным я вдруг сообразил, что однажды уже связал их между собой – вполне, впрочем, бессознательно. Потому что первая моя рецензия, напечатанная весной шестьдесят шестого в «Московском комсомольце», где тогда работал, была о книге Лиснянской «Из первых уст». А первая курсовая по современной литературе в Литинституте годом позже – о книге Липкина «Очевидец».

Совпадение это ему, видимо, понравилось. И он пригласил при случае заглянуть к нему в гости...

Через несколько месяцев после выхода «Очевидца» в Москве книга Липкина с таким же заглавием была издана в Элисте, где его, переведшего еще в тридцатых годах калмыцкий – буддийский! – эпос «Джангар», поистине *боготворили*.

Липкин рассказывал, как в начале войны ему пришлось вывести из окружения подразделение конных калмыков. «Наверно, с ними трудно было?» – «Никаких сложностей. Я ведь был для них *бодисатва*, спаситель от несчастий»...

К тому же книгу опекал влиятельнейший в литературной Калмыкии Давид Кугультинов, с которым Липкин дружил – и был его основным, и лучшим переводчиком.

Как-то я подошел к Кугультинову в ЦДЛ с каким-то мелким поручением Липкина, то ли книжку передать, то ли на словах нечто, не помню. Но помню, как при упоминании этого имени бесстрастное, словно из дерева высеченное лицо Кугультинова мимолетно осветилось изнутри...

Так что книга, в отличие от московской, вышла, не искусанная цензурой-редактурой. Именно ее, а не принесенную мною с собой совписовскую, Липкин взял с полки и надписал-подарил.

Десять лет спустя история повторилась – на сей раз в Душанбе переиздали в авторской, так сказать, версии и под непроходимым для Москвы, опять же, авторским заглавием «Тетрадь бытия» изувеченную «Советским писателем» вторую книгу Липкина, «Вечный день».

Собственно говоря, под одной этой обложкой – две книги: первая – без потерь прошедший либеральную *местную* цензуру «Вечный день» (о причине сего *либерализма* – чуть позже), вторая – «Из таджикской классики» (избранные переводы: Рудаки – Фирдоуси – Ибн-Сина – Хайям – Анвари – Хафиз – Джами). И не исключено, что сознательно – Липкин к подобным вещам был пристально-внимателен – *двойственность* подчеркнута, опять-таки, для внимательного читателя, тем, что второе заглавие делит «Тетрадь» ровно пополам...

Разумеется, решающую роль сыграло не только то, что Липкин с блеском переводил таджикскую классику, но более – многолетняя дружба с Мирзо Турсун-Заде, ровесником, которого он начал переводить еще в конце тридцатых.

Книге, которую, так сказать, патронировал – пусть негласно, на Востоке афишировать сие нет нужды – всемогущий поэт, депутат, член ЦК, лауреат и прочая, и прочая, благосклонность редакторско-цензорская была обеспечена.

Мирзо умер в том же году. Так что издание «Тетради бытия» стало вроде как прощальным – благодарственным – жестом...

В этой книге есть стихотворение, которого нет – и не могло быть – в московской.

...Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: «Беда,
Слишком ты, Акулина, горда,

Никогда не видать твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос».

Липкин рассказывал, что жившие в окрестностях Душанбе молокане, узнав, что напечатано стихотворение «про них», приезжали в городские книжные магазины, покупали книжку – и тут же, на выходе, вырывали эти две странички – шестьдесят четвертую и шестьдесят пятую, с Акулиной Ивановной, а остальное выкидывали...

«Вечный день» вызвалась готовить к печати – случай небывалый! – главный редактор «Советского писателя» собственной персоной, некто Карпова, дама малоприятная во всех отношениях. В замах у нее ходили, верней, сидели два вполне ортодоксальных советских критика – Соловьев и Левин, соображения свои о чужих стихах, преимущественно авторов покойных, писавшие-печатавшие. Не иначе как начальница надумала показать им, как надо управляться с *живыми* поэтами.

«Стартовая» встреча-беседа ее с Липкиным длилась несколько часов. Расставаясь, условились о следующем свидании. Которое не состоялось. Один из подручных начальницы, Фогельсон, объяснил поэту, что отныне она станет передавать свои пожелания и указания через него, через *посредника*. Потому что Липкин умнее – и может убедить ее в чем угодно. А так – никаких споров: не с кем...

Так и «работали» они над рукописью, по большей части – ножницами. И *доредактировали* ее до того, что в «содержании» вышедшей книги названо стихотворение «Тот же признак», которого в книге нет. Из текста выкинули, а вычеркнуть заглавие на последней странице забыли.

...Средь уродливых, грубых диковин,
В дымных стойбищах с их тишиной,

Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и доли иной.

В ту пору Липкин заехал однажды к Штейнбергу прямо из издательства и в лицах описал, как уродуют его рукопись, приспособивая к печати.

«Зачем тебе это надо? – удивился Штейнберг. – Стоит ли издаться увечно?» – «Что делать, Аркадий? – вздохнул Липкин. – Я воспитан в уважении к изобретению Гутенберга».

Я много раз просил у него почитать неопубликованные вещи. Он не отказывал, говорил, что непременно даст, вот только... там правки много, а почерк у него неважный, и надо, чтобы машинистка аккуратно все перепечатала, и вот тогда, конечно...

Почерк у Липкина был очень даже внятный...

Владимир Михайлович Зверин, многолетний метранпаж «семерки» (бывшей типографии Левенсона, построенной в девятидесятых годах Шехтелем в Трехпрудном переулке, той самой, где печаталась вторая книга жившей по соседству Цветаевой), свел знакомство со всей «Квадригой» еще в тридцатых, особенно сдружился со Штейнбергом – до конца дней своих. Но и с Липкиным, можно сказать, приятельствовал, был на «ты», хотя виделся нечасто. Однажды за чаем у Штейнберга он поведал, что встретил на днях Липкина и сказал ему, что не может забыть сильного впечатления от его стихотворения «Молдавский язык»:

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке...

Липкин насторожился, напрягся: «Откуда ты его взял?» – «Да ты сам его читал у Аркадия». Сразу успокоился, улыбнулся даже...

Он был осторожен, понимал, что если стихи распространятся в самиздате, их могут вообще перестать печатать, даже самые невинные.

Вскоре после выхода «Метрополя» и устроенного в Союзе писателей и в газетах судилища Липкин принес к Штейнбергу

«аккуратно перепечатанное» собрание своих стихотворений и поэм. И вскоре машинописный тираж этого тома разошелся по Москве, Ленинграду, Еревану, Сухуми, Риге, Тбилиси...

Позже в нескольких сухумских домах я видел переписанную от руки поэму «Нестор и Сария»: с экземпляра, который привез своим друзьям – артистам театра имени Чанба.

У Липкина была незыблемая репутация переводчика-классика, мастера переложений поэзии Востока, который *и стихи пишет*, и время от времени их публикует.

Ему удалось маловероятное – *изменить репутацию*. Стать для читателей *поэтом*, который отчасти по склонности, но больше волею обстоятельств сорок с лишним лет занимался переводом – и делал это замечательно.

Судьба дала ему рискованный шанс. И Липкин воспользовался им решительно и безошибочно.

В одну из наших первых встреч, в начале семидесятых, я спросил, так ли хорош Мирзо Турсун-Заде, как выглядит и звучит в переводах. Речь, понятно, шла не об официально-лауреатских поэмах, но о лирике, где есть очень хорошие стихи. «Мирзо – очень талантливый человек, – ответил Липкин. – Я давно с ним знаком и перевожу его точно, насколько это вообще возможно»...

Признаться, сомнения мои не развеялись. И в дальнейшем несколько раз задавал тот же вопрос, неизменно получая тот же, слово в слово, как будто на пленку записанный ответ.

Потом Карл Профер издал «Метрополь», и Липкина перестали печатать.

Мирзо к тому времени уже умер. Липкинские переводы его стихов – бóльшая часть наследия – сплошь авторизованы: это означало, что переводить их заново можно было только с согласия Липкина, таджикский советский классик становился, таким образом, не издаваемым, вернее, не переиздаваемым по-русски.

Однако новые переводы все же появились. Я сообщил о них Липкину – и посоветовал подать на издателей в суд, получить с них деньги, с паршивой овцы...

«Я не стану этим заниматься, – вяло отреагировал Семен Израилевич, – пусть делают что хотят, – и, помолчав, добавил: – хотя, конечно, досадно: я его так хорошо... придумал».

Примерно тогда же, в пору жесткой *издательской блокады*, он как-то встретил на улице поэта – из тридцатилетних, из питомцев Григория Левина в «Магистрали», прежде его навещавшего – стихи почитать. И тот рассказал, что издательство предложило ему наново перевести изрядный кусок восточного эпоса, некогда переведенный Липкиным. «И что вы ответили?» – поинтересовался Липкин. «Согласился. Ведь если не я, отдадут кому-нибудь... мерзавцу»...

Впрочем, этот хотя бы пытался оправдаться – тем, что хотел как лучше. Другие запросто обходились без подобных угрызений. Скажем, Солоухин, не колеблясь, взял в издательстве все материалы, приготовленные (и оплаченные) Липкиным для перевода «Гэсэра» и преспокойно переложил якутский эпос *по чужой канве*...

У Георгия Иванова: «Над кипарисом в сонном парке Взмахнет крылами Азраил, И Тютчев пишет без пометки: «Оратор римский говорил»...

Не знаю, бывал ли Иванов в Мюнхене, и едва ли ему было известно, что «Цицерон» написан именно здесь, но его явно италийский кипарис, зеленое пламя которого колышется взмахом темного крыла, и замечательный звук строки оборачиваются *точной деталью*. Найти кипарисы в любом из мюнхенских парков не стоит труда.

Липкин в Мюнхене бывал. Посетил Дахау. Написал стихи: «Маляр, баварец белокурый, В окне открытом красит рамы, И веет от его фигуры Отсутствием душевной драмы»... И далее – о печах: то ли предтечах грядущего, то ли знаках былого. Закрепленное за нацистскими лагерями и повоеванным духом *клише* предварило собственные впечатления, вытеснило их *мысленным* представлением. Он описал то, что увидел, но увидел *не то*.

Мне подумалось, что он это почувствовал, и не потому ли – случай у Липкина редкий – во второй, таджикской публикации вымарал начальную строфу:

Без боли колет воздух туя,
Береза бело-золотая,
Сама себя живописуя,
Пылает, блещет, облетая, –

из-за чего распалась охватывавшая стихотворение метафора *памяти-листопада* – и вся композиция как бы перекосилась. Я тогда спросил его о причинах столь резкой правки. Он ответил, что зачеркнутая строфа была неуместно-красивой – и тут же, без перехода, заговорил о стихотворении «Зола», написанном сразу вслед первому и на ту же тему. Прямо не прозвучало, но выходило так, что одно стихотворение было *подступом* к другому...

Он не был ревнив в поэзии. Среди поэтов мне такое встречалось нечасто. Тарковский, например, по-моему, *ревновал* к ахматовским похвалам Бродскому, по свидетельству Липкина – и не его одного – говорил, что это «способный мальчик, не более того». Да и позже переменял свое мнение, так скажем, не радикально: «Ну что вы со своим Бродским носитесь? Он – не мой, потому что слишком длинно без стержневой мысли пишет, неоправданно длинно»... – вспоминала-цитировала Тарковского Лиснянская. У нее же и о «ревности» есть...

«Семен Израилевич, Бродский – хороший поэт?» – спросил Витковский. – «Лучший».

К позднему своему *книжному дебюту* – в пятьдесят шесть лет – он относился не без горечи, но философски. Ссылаясь на Алишера Навои (которого он, конечно, тоже переводил), говорившего, что полководцы и поэты начинаются после сорока: прежде этого срока у полководца дети малые, и воюет он с оглядкой, а у поэта не пережиты влюбленности, о которых он только и пишет...

Как-то он упомянул, что накануне провел часа два перед телевизором – смотрел останкинский вечер Гамзатова. А месяцем то ли двумя раньше – такой же вечер Евтушенко. И заинтересовал его, как он выразился, «механизм успеха, переходящего в славу». В обоих случаях, да и в других тоже, по его наблюдению-мнению, самыми знаменитыми становятся стихи-песни, в которых обязательно есть нечто логически немотивированное, зато эффектно звучащее: высказывание (или метафора), вокруг

него, на разные лады повторяемого, все выстраивается, и вовсе неважно, *верна* мысль или нет, важна *запоминаемость*. «Хотят ли русские войны?...» Но ведь никакой народ не хочет войны, ее затевают политики и правители. И с тем же результатом такой вопрос можно задавать американцам, шведам или китайцам... Или про солдат, которые «не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей», и дальше только про них, журавлей, хотя в христианской, например, традиции эта метафора «душа-птица» *орнитологически* не персонифицирована...

Интуиция Липкина (не знаю, как назвать, – вернее, быть может, наитие) однажды меня поразила.

В середине июля девяносто седьмого я привез ему в Переделкино подготовленные мною и только что вышедшие однотомники Штейнберга («К верховьям») и Шенгели («Иноходец») – их выпустило одно и то же издательство с интервалом в... два дня.

Он осторожно, как бы не совсем веря, взял обеими руками книгу друга, до книги стихов так и не дожившего, отогнул картон переплета, взглянул на портрет, закрыл – и вдруг поднес к губам, поцеловал. Так же осторожно положил на стол: «Потом»...

И наугад разломил том Шенгели, поднес страницу совсем близко к глазам, стал читать. Я заглянул через плечо – и едва сдержался, чтобы не выдать впечатления.

В одном из комментариев мне пришлось исправить *ошибку памяти* из мемуаров Липкина о Шенгели. Всего строчек двадцать в пятисотстраничной книге. И он первым делом раскрыл ее именно на этом развороте и стал читать... о себе.

А потом рассказал, что Мария Петровых, с которой он всю жизнь дружил, была отчаянно влюблена в Шенгели. Я об этом знал из письма Шенгели к Ланну, правда, имя женщины в письме не названо, однако все совпало. То письмо начинается с просьбы: сразу по прочтении непременно уничтожить. Теперь оно хранится в государственном архиве...

По ассоциации... Шенгели познакомился с Мандельштамом в середине девятьсот десятых. Их тогда сблизило общее для обоих тогдашнее увлечение французскими парнасцами. Десятилетие спустя оно отзовется у Шенгели стихотворением «Прожект»: «Друзья, Леконт де Лилль и Мандельштам, Всего лишь трое нас,

непогрешимых...». Позже пути разошлись, однако на взаимоотношения это не повлияло, они остались вполне дружескими. В тридцатых Шенгели, служивший в Госиздате, помогал Мандельштаму, а позже и его жене подрабатывать на жизнь переводами.

И, по-моему, резонно предположить, что Мандельштам знал о той *влюбленности*, когда в середине тридцатых годов, будучи сам влюблен в Петровых, написал не только «Мастерица виноватых взоров...», но и почти одновременно – «И чтобы вы без всякого представительства Вошли к Шенгели в кабинет издательства И вышли, нагруженная гостинцами – Полурифмованными украинцами»...

В восемьдесят шестом Липкин написал и, если не ошибаюсь, годом позже опубликовал большой, почти на полсотни страниц, мемуарный очерк «Вечер Шенгели». Впервые через три десятка лет после смерти поэта дал возможность читателям познакомиться с обстоятельными размышлениями о нем, о его судьбе и стихах. Читателям, которые имели об этом «забытом» поэте весьма туманное представление. Ежели вообще имели.

Среди историко-литературных вопросов/проблем, связанных с поэзией, которые, по моим впечатлениям, много лет привлекали внимание и мысль Липкина, была тема забытых поэтов. Он много размышлял и не раз говорил о причинах забвения поэтов не просто талантливых, ярких (бездарные, естественно, не в счет), но и бывших при жизни более или менее длительное время известными, даже знаменитыми, читаемыми – и почитаемыми.

Семен Израилевич упорно пытался понять: чего же им не хватило, почему их наследие оказалось не востребованным новыми читательскими поколениями? «Я читаю забытых поэтов. Почему же забыты они? Разве краски закатов, рассветов Ярче пишутся в новые дни?» – писал он еще в 1963 г. («Забытые поэты»).

Мне думается, что двадцать три года спустя, когда Липкин взялся писать о Шенгели, воспоминания об этом поэте представлялись ему едва ли не идеальным материалом – для того чтобы наконец сформулировать свой ответ на вопрос. Случай действительно редкостный – возможностью поверить историко-литературные факты собственными впечатлениями, отстоявшимися, отфильтрованными от случайных примесей.

И поэтому, думаю, прежде чем добраться до разговора собственно о Шенгели, он обстоятельно и неторопливо (почти на десятке страниц) размышляет о нескольких «забытых», цитирует их стихи (отличные!), пытается понять – как, почему *такое* могло исчезнуть? И тем самым проясняет читателю, о чем пойдет речь, какая мысль-тема является для мемуариста опорной, если угодно, концептуальной.

Обо всем об этом мы говорили с Семеном Израилевичем вскоре после публикации. Некоторые мои сомнения он принял сочувственно, но, в принципе, стоял на своем.

И даже такой веский, по-моему, довод, что бóльшая – и лучшая – часть поэтического наследия Шенгели (примерно три четверти написанных им стихотворений и поэм) оставалась тогда все еще не опубликованной, мягко отвел: дескать, мало издать, надо, чтобы кому-либо это захотелось читать...

И включил «Вечер Шенгели» в свой однотомник «Квадрига», вышедший почти одновременно с «Иноходцем», несколькими месяцами раньше. И подарил-надписал его мне в тот самый день, когда получил от меня том Шенгели.

Примерно месяц спустя я снова навестил его. И Липкин признался, что, подобно Катаеву, недооценивал Шенгели. Говорил, что многое из впервые прочитанного – вещи замечательные, а «византийская повесть», «Повар базилевса», – сочинение огромное (его эпитет), что ничего подобного он не видит в русской поэзии, да и не только в русской. И посоветовал, что книга вышла только что, а не хотя бы годом раньше: тогда была бы возможность дописать «Вечер Шенгели», включенный в книгу «Квадрига».

А еще несколько месяцев спустя порадовался, что тираж «Иноходца» разошелся очень быстро, хотя книжный дефицит в ту пору уже отошел в советскую историю.

Я, конечно, не упустил случая напомнить слова Вяземского о том, что «старое» вовсе не обязательно «устаревшее», не так уж редко бывает, что оно «просто вышло из употребления», и что спрос на него может возродиться... Потому попытка современников, даже долгожителей, подвести исторические итоги всегда, мягко говоря, рискованна: у истории совсем иная мера времени, ей спешить некуда...

Я не знаю причин, по которым Липкин позже не дополнил, хоть кратко, свой очерк о Шенгели, – и не хочу гадать.

...Стихотворение «Квадрига» Липкин сочинил в июне 1996 года.

Я был у него в Переделкине несколько дней спустя – уважил настойчивые просьбы прозаика Игоря Шварца, жаждавшего отснять новенькой видеокамерой «говорящего Липкина». Договорившись с Семеном Израилевичем по телефону, я привез к нему Игоря.

Съемка длилась более двух часов. Игоря уже давно нет. Получить обещанную им копию видеозаписи мне так и не удалось. Все еще надеюсь – пока.

Тогда-то Липкин и рассказал историю стихотворения.

Узнав о присуждении ему Пушкинской премии (германского фонда Тепфера), он был взволнован, долго не мог заснуть. А потом – единственный раз в жизни – ему приснились стихи. Наутро он их записал, сразу набело.

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных...

Здесь внезапно память откликнулась пастернаковскими реминисценциями, сначала из «Смерти поэта»: «...В предгорьи трупов и трусих», – потом – отчетливей – из соседних по времени стихов: «...Как тени, вертеться четыре семейства»...

Но – мелькнуло и ушло. Дальше иное, дальше – о каждом из «Квадриги», из друзей, с которыми вместе начинал. О Тарковском. О Штейнберге. О Петровых. Об уже ушедших. И о себе:

А мне, четвертому, ломать
Девятый суждено десяток.
Осталось близких вспоминать,
Благословляя дней остаток...

Никому еще не удавалось определить границу сна и яви.
И попробуй это сделать, если сознание спит, а слух бодрствует.
И до него доносится:

Нас было много на челне:
Иные парус напрягали...

И еще:

Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?..

Принимай и записывай. Без черновика.

Стихи были хороши. И все-таки я не удержался – захотелось понять удивительную эту впечатлительность, такую бурную реакцию, казалось бы, все видевшего и пережившего в литературе поэта на сообщение – о чем? – о премии. Ему ли не знать цену всем этим «отличиям». Взять хотя бы одно то, что «старую» Пушкинскую премию Российской Академии наук дважды не получил Случевский, зато – опять-таки дважды! – была удостоена ее Мирра Лохвицкая...

Липкин выслушал мою тираду. Помолчал. И как-то неуверенно произнес: «Знаете, все-таки – Пушкин»... И после паузы – твердо: «Все-таки – Пушкин»...

2003-2008

